

Харуки МУРАКАМИ

ПИНБОЛ-1973

1969 – 1973

Слушать рассказы о незнакомых местах было моей болезненной страстью.

Лет десять назад я мог вцепиться в первого встречного и требовать отчета о его родном городе. Избытка людей, готовых добровольно выслушивать чужие речи, в те времена не наблюдалось – поэтому всякий, кто попадался мне под руку, вел свой рассказ прилежно и старательно. Бывало даже, что совершенно незнакомые мне люди где-то узнавали о таком чуде и специально приходили что-нибудь рассказать.

Словно бросая камушки в пересохший колодец, они повествовали мне о самых разных вещах – и уходили, одинаково удовлетворенные. Одни говорили с умиротворением, другие – с раздражением. Одни строго по сути вопроса, а другие всю дорогу не пойми о чем. Бывали скучные рассказы, бывали грустные, слезливые – а иной раз случались дурацкие розыгрыши. Однако я всех выслушивал серьезно, как только мог.

Не знаю, в чем здесь причина, но каждый каждому – или, скажем так, каждый всему миру – отчаянно хочет что-то передать. Мне это напоминает стаю обезьян, засунутую в ящик из гофрированного картона. Вот я вынимаю такую обезьяну из ящика, бережно стираю с нее пыль, хлопаю по попе и выпускаю в чистое поле. Что с ними происходит потом, мне неизвестно. Не иначе, грызут где-нибудь свои желуды, покуда все не вымрут. Да и бог с ними, такая у них судьба.

Если откровенно, то работы во всем этом было много, а толку мало. Сейчас я думаю: объяви тогда кто-нибудь всемирный конкурс "Старательное выслушивание чужих речей" – я без сомнения вышел бы в победители. И получил бы награду. Например, коврик на кухню.

Среди моих собеседников один родился на Сатурне, а еще один – на Венере. Их рассказы произвели на меня глубокое впечатление. Начну с Сатурна.

– Там... Там дико холодно! – говорил со стоном мой собеседник. – Одна

лишь мысль об этом, и к-крыша едет!

Он входил в политическую группировку, которая безраздельно господствовала в девятом корпусе университета. "Действия определяют идею, а не наоборот", – таков был их лозунг. Что же определяет действия, они никому не рассказывали. Кстати говоря, девятый корпус располагал водяным охлаждением, телефоном и горячей водой, а на втором этаже была даже музыкальная комната с коллекцией из двух тысяч пластинок. Просто рай – особенно в сравнении с восьмым корпусом, где вечно царила вонь, как в сортире какого-нибудь велодрома. Они каждое утро тщательно брились под горячей водой, всячески злоупотребляли телефонной халявой, а вечерами собирались и слушали пластинки – так, что под конец осени в полном составе зафанатели от классики.

Говорят, что в тот удивительно ясный ноябрьский день, когда в девятый корпус вломился третий маневренный отряд, там на полную громкость играл Вивальди – "L'Estro Armonico". Трудно установить, в какой мере это соответствует истине. Одна из трогательных легенд шестьдесят девятого года.

Когда же я проползал под наспех выстроенной из диванов шаткой баррикадой, то слышал едва различимые звуки фортепианной сонаты Гайдна соль-минор. Мне вспоминался тогда дом моей подруги – к нему вела крутая дорога, поросшая камелиями. За баррикадой мне предлагался самый роскошный стул и теплое пиво в похищенной из медицинского училища мензурке.

– Еще гравитация сильная, – продолжался рассказ о Сатурне. – Один чувак жвачку выплюнул, попал себе по ноге и всю раздробил к чертям. П-просто ужас!

– Да-а-а... – произносил я, выдержав секунды две. К тому времени я освоил порядка трехсот самых разных способов поддакивания.

– А п-потом... Солнце такое, очень маленькое. Как будто в бейсболе мандарин летит вместо мячика. И оттого все время темно. – Следовал вздох.

– Чего ж вы все оттуда не улетите? – интересовался я. – Ведь есть же планеты получше?

– Сам не пойму. Наверное, потому что родина. Дело т-такое... Я вот тоже диплом получу – и домой, на Сатурн. Сделаю все к-как надо. Б-б-будет революция.

Думайте, что хотите, – а я люблю рассказы о далеких городах. Я коплю эти города, как медведь копит жир перед спячкой. Стоит закрыть глаза, и всплывают улицы, застраиваются домами, наполняются голосами людей. Эти люди далеко, и мне, скорее всего, никогда с ними не пересечься – но я способен ощутить податливые и вместе с тем прочные изгибы их жизней.

Наоко тоже несколько раз делилась со мной такими рассказами. В них я помню каждое слово.

– Как это назвать-то, даже не знаю...

Университетский вестибюль был залит солнцем. Наоко подпирала рукой щеку и неловко улыбалась, пока я терпеливо ждал продолжения. Она всегда говорила медленно, подыскивая правильные слова.

Мы сидели друг напротив друга, разделенные столом из красного пластика, на котором стоял бумажный стаканчик, полный окурков. Солнце, бывшее в высокое окно, как на картине Рубенса, прочерчивало на столе четкую границу между светом и тенью. Моя правая рука была освещена, левая лежала в тени.

Вот так, двадцатилетними, мы встречали весну 1969 года. Вестибюль ломился от обилия первокурсников – все в новеньких ботиночках, все с конспектами в обнимку, у всех в головах свежие мозги. Возле нас постоянно кто-то на кого-то натыкался, возмущался, извинялся – и этому не было конца.

– В общем, что угодно, только не город, – заговорила она снова. – Скорее, станция на железной дороге, захудалая такая. Если в дождь проезжаешь, можно и не заметить.

Я кивнул. После этого мы с ней добрые полминуты бессмысленно разглядывали табачный дым, дрожащий на границе света и тени.

– А по платформе, от края до края, всегда собаки разгуливают. Бывают такие станции, знаешь?

Я опять кивнул.

– Как со станции выйдешь, попадаешь на маленькую площадь с круговым движением. Там еще автобусная остановка. И несколько магазинов... Такие, ну что ли, сонные магазины. Если пойдешь прямо, упрешься в парк. В парке стоит горка и качелей три штуки.

– А песочница?

– Песочница? – Она чуть подумала и утвердительно кивнула. – Тоже есть.

Мы снова замолчали. Я затушил докуренную сигарету о внутреннюю стенку стаканчика.

– Там жутко скучно. Даже непонятно, зачем строят такие скучные города.

– Бог может проявляться в разных ипостасях, – ляпнул я.

Она покачала головой и улыбнулась. Странно, что эта улыбка – такие часто бывают у примерных и успевающих студенток – запала мне в душу так надолго. Прямо Чеширский Кот из "Алисы" – сам исчез, а улыбка осталась.

И еще мне почему-то ужасно захотелось посмотреть на этих собак, фланирующих по платформе.

Четыре года спустя, в мае 1973 года, я один добрался до этой станции. Чтобы посмотреть на собак. Ради такого случая я побрился, повязал лежавший полгода без дела галстук и натянул сапоги из кордовской кожи.

Когда вылезает из пригородного поезда, составленного из двух грустно ржавеющих вагонов, первым делом в ноздри бьет ностальгический запах травы. Запах давнего пикника, приносимый майским ветром с той стороны времени. А если поднять голову и напяречь слух, то становятся слышны голоса жаворонков.

Я широко зевнул, сел на станционную лавочку и от скуки закурил. Чувство свежести, с которым я утром покинул свою квартиру, к этому моменту окончательно испарилось. Все на свете суть повторение уже бывшего – вот что я теперь чувствовал. Безграничное дежа вю – с каждым новым повторением все хуже и хуже.

Когда-то я жил в компании нескольких друзей – мы все спали вповалку. Ранним утром кто-то наступает тебе на голову. Ты слышишь: "Ой, извини". Чуть позже слышится журчание мочи. Не успеваешь уснуть, как все повторяется снова.

Я ослабил галстук, переместил сигарету в угол рта и потерся о бетонный пол подметками неразношенных сапог, чтобы не так давило ноги. Боль не была такой уж сильной – но из-за нее я словно разваливался на части.

Собак не наблюдалось.

Полный раздрай.

Такой вот распад на куски мне приходится испытывать довольно часто. Будто составляешь сразу две мозаики, фрагменты которых свалены в одну кучу. Когда это со мной бывает, я предпочитаю глотнуть виски и заснуть. Вот только утром приходится еще хуже. Все повторяется.

Когда я проснулся, по обе стороны от меня обнаружились две близняшки. Мне приходилось несколько раз иметь дело с близняшками – но такого, чтобы они находились по обе стороны от меня, еще не случалось. Уткнувшись носами в оба моих плеча, они сладко спали. Стояло ясное воскресное утро.

Немного спустя они практически синхронно проснулись, засуетились, надевая брошенные тут же джинсы и рубашки, – потом, ни слова не говоря, сварганили на кухне кофе, нажарили тостов, вынули масло из холодильника и разложили все это на столе. Процедура у них была хорошо отлажена. В окне виднелась сетка для гольфа; сидевшая на ней птица с неизвестным мне именем строчила свою песню, будто из пулемета.

– Вас как зовут-то? – спросил я. Голова раскалывалась от похмелья.

– А какая разница? – отозвалась та, что справа.

– Как зовут, так и зовут, – добавила та, что слева. – Понял?

– Понял, – сказал я.

Мы сидели за столом, жевали тосты и пили кофе. Кофе был отменным.

– А что, без имен трудно? – спросила одна.

– Ну, как-то...

Обе немножко подумали.

– Если уж тебе непременно надо нас как-нибудь называть, придумай сам, – предложила одна.

– Да, как тебе самому нравится.

Они всегда говорили по очереди. Так в радиопередачах проводят настройку стереозвучания. Голова у меня от этого заболела еще сильнее.

– Например? – спросил я.

– Право и Лево, – сказала одна.

– Вертикаль и Горизонталь, – сказала другая.

– Верх и Низ.

– Перед и Зад.

– Восток и Запад.

– Вход и Выход, – с трудом добавил я, не желая отставать. Переглянувшись, они довольно засмеялись.

Если есть вход, то есть и выход. Так устроено почти все. Ящик для писем, пылесос, зоопарк, чайник... Но, конечно, существуют вещи, устроенные иначе. Например, мышеловка.

Один раз я установил мышеловку у себя дома, под раковиной. Приманкой служила мятная жвачка. Ничего другого, достойного называться едой, в моей комнате не нашлось даже после долгих поисков. А жвачка нашлась в кармане зимнего пальто, вместе с половинкой билета в кинотеатр.

На третий день утром мышеловка сработала. В нее попала молодая крыса, цвета свитера из кашмирской шерсти, какие кучами навалены в лондонских магазинах беспощинной торговли. По людским меркам ей,

наверное, было лет пятнадцать или шестнадцать. Трудный возраст. Огрызки жвачки валялись у нее под лапами.

Поймать-то я ее поймал, но не знал, что делать дальше. Умерла она к утру четвертого дня, так и не высвободив задней лапы, прищемленной проволокой. Глядя на нее, я вывел для себя один урок.

Все должно иметь как вход, так и выход. Обязательно.

Железнодорожная линия шла мимо холмов – неестественно прямая, будто ее провели по линейке. Вдали по ходу движения тускло зеленел смешанный лес, похожий на скатанные из обрывков бумаги шарики. Блестящие от солнца рельсы вдалеке сходились и терялись в зелени. Казалось, пейзаж будет вечно оставаться таким же, сколько ни иди. Это наводило тоску. Если так, то уж лучше метро.

Я закурил, потянулся и взглянул на небо. На небо я давно уже не глядел. В том смысле, что само это действие – глядеть на что либо без спешки – мною давно не предпринималось.

Небо было безоблачным, но его затянуло мутной непрозрачной вуалью, обычной для весны. Сквозь эту неподатливую вуаль тут и там старалась пробиться небесная голубизна. Солнечный свет беззвучно падал сквозь атмосферу мелкой пылью – и ложился на землю, не найдя, кого собою удивить.

Под тепловатым ветром свет подрагивал. Воздух перемещался неспешно, подобно стайкам птиц, перепархивающим с дерева на дерево. Ветер скатывался по отлогому зеленому косоугору вдоль путей, перемахивал через рельсы и пронизывал лес, не шевеля ни листочка. Раздавалось одиночное "ку-ку", пролетало сквозь мягкие солнечные лучи и таяло на гребне далекой горы.

Вытянутые цепью холмы напоминали исполинских котов – они присели на корточки, пригрелись и задремали.

Ноги принялись ныть еще сильнее.

* * *

О колодцах.

Наоко приехала в это место, когда ей было двенадцать. В 1961 году, если по западному календарю. В год, когда Рики Нельсон спел "Хеллоу, Мэри Лу". В этой мирной зеленой долине тогда решительно ничего не могло приковать глаз. Несколько крестьянских домов, несколько огородов, речка, кишасящая раками, колея железнодорожной ветки и наводящая зевоту станция. При доме, как правило, – сад с хурмой, в углу сада – выбеленный дождем сарай, готовый развалиться при первом прикосновении. На стене сарая, обращенной к станции, – жестяной щит с аляповатой рекламой туалетной бумаги или мыла. И все в таком духе. Даже собак не водилось! – говорила Наоко.

Дом, в котором она поселилась, был построен во время войны в Корее. Двухэтажный, в западном стиле, он не был особо велик – но для его широких и мощных столбов выбрали первосортное дерево, поэтому дом выглядел спокойно и уверенно. Снаружи он был выкрашен в три разных оттенка зеленого цвета. Под солнцем, ветром и дождем краски выцвели, и дом окончательно растворился в окружающем пейзаже. В широком саду было несколько деревьев и пруд. Среди деревьев находилась уютная восьмиугольная беседка, служившая также художественной мастерской; на ее эркерах висели кружевные занавески какого-то невразумительного цвета. У пруда буйно цвели нарциссы, и по утрам туда слетались пташки, желавшие искупаться.

Архитектором дома и первым его жильцом был пожилой художник, работавший в западной манере. Зимой перед приездом Наоко он умер от легочного осложнения. Значит, дело было в 1960 году – когда Бобби Ви спел "Резиновый мячик". Той зимой выпало невероятное количество дождя. Здесь практически не случалось снега – вместо него шел жутко холодный дождь. Пронизывая землю, он покрывал ее сверху ледяной сыростью – а глубины питал сладкими грунтовыми водами.

В пяти минутах ходьбы от станции находился дом копателя колодцев. Он стоял в заболоченной низине у самой реки, так что летом его брали в осаду комары и лягушки. Копатель был пятидесятилетний чудаковатый мужик с

тяжелым характером. Подлинный талант он имел лишь к рытью колодцев. Когда его просили выкопать колодец, он начинал ходить кругами по участку, где собирались копать, и ходил так несколько дней. Что-то тихо бубнил, тут и там зачерпывал рукой земли, нюхал... Отыскав, наконец, внушающую доверие точку, звал товарищей – и они под прямым углом вгрызались в землю.

Поэтому каждый в этой местности всегда мог напиться вкусной колодезной воды – холодной и такой чистой, что даже держащие стакан пальцы казались прозрачными. Поговаривали, что вода притекает сюда с Фудзи, когда там тают снега – но это, конечно, чушь. Слишком далеко.

Осенью, когда Наоко исполнилось семнадцать лет, копатель погиб под поездом. Винили непроглядный ливень, нетрезвое состояние и тугоухость. Тело искромсало на тысячи кусков, разлетевшихся вокруг. Семь полицейских собрали их в пять ведер, попутно отгоняя длинной палкой с крюком стаю тощих бродячих собак. Не хватало кусков еще на одно ведро – видимо, упали в речку, и течение отнесло их в пруд. На корм рыбам.

У копателя было два сына, которые бесследно исчезли из этих мест. К их дому никто даже не подходил, он так и стоял заброшенным, медленно разваливаясь. А найти здесь колодец с хорошей водой стало с тех пор совсем трудно.

Я люблю колодцы. Стоит мне увидеть колодец, как я принимаюсь кидать в него камушки. Ничто так не успокаивает душу, как звук камушка при ударе о воду глубокого колодца.

* * *

В 1961 году семья Наоко переехала в эти места на жительство по волевому решению отца. Во-первых, покойный художник приходился ему близким другом. А во-вторых, отцу Наоко здесь просто нравилось.

Он был специалистом по французской филологии – похоже, достаточно известным в своих кругах. Но когда Наоко пошла в школу, совершенно оставил работу в университете и беззаботно предался любимому делу – переводу чудесных старинных книг. Речь в них шла о всяких вурдалаках, падших ангелах, грешных монахах и изгонятелях беса. Конкретнее описать не могу. Только один раз я наткнулся на его фотографию в каком-то журнале. По словам Наоко, ее отец в молодости слыл человеком забавным – глядя на фото, я готов был этому поверить. На голове охотничья шапочка, на носу темные очки, взгляд устремлен на метр выше объектива. Наверное, что-нибудь увидел...

Когда семья Наоко переехала сюда, здесь как раз наметилась своеобразная колония, в которую собрались такие же интеллигенты с причудами. Получилось что-то вроде сибирской ссылки, куда царская Россия отправляла вольнодумцев.

О сибирской ссылке я читал совсем немного, в биографии Троцкого. Сейчас уже мало что помню в подробностях – разве что про тараканов и еще про северных оленей. Ну, значит, расскажу про оленей.

Троцкий под покровом темноты украл оленью упряжку и бежал из ссылки. Четыре оленя сломя голову несли его через серебряную пустыню. Их дыхание превращалось в белые клубы, а копыта разбрасывали девственный снег. После двух дней пути, когда они добрались до станции, олени настолько выбились из сил, что упали и встать уже не смогли. Троцкий взял погибших оленей на руки – и сквозь подступившие слезы дал в своей душе клятву. Он сказал: я непременно приведу эту страну к справедливости и к идеалам. И еще к революции. По сей день на Красной Площади стоят эти четыре оленя, отлитые в бронзе. Один смотрит на восток, другой смотрит на север, третий смотрит на запад, и четвертый смотрит на юг. Даже Сталин не смог уничтожить этих оленей. Если вы приедете в Москву и субботним утром придете на Красную Площадь, то наверняка сможете

увидеть освежающее душу зрелище: краснощекие школьники, выдыхая
белый пар, чистят оленей швабрами.

* * *

Да, про колонию...

Они отвергли удобные, ровные площадки рядом со станцией, намеренно удалились на горные склоны и настроили там домов по своему вкусу. У каждого дома был невероятно обширный сад – со смешанными рощами, прудами и несрытыми холмами. В некоторых садах даже протекали живописные ручьи с настоящей форелью.

Они просыпались от песен горных голубей и обходили свои сады, ступая по крошащимся плодам буковых деревьев и останавливаясь, чтобы посмотреть на льющиеся сквозь листву солнечные лучи.

Потом пришло время, когда до колонии докатилась мощная волна переселенцев из центра столицы – правда, уже сильно ослабленная. Дело было в пору Токийской Олимпиады. Тутовую плантацию – громадную, напоминающую море, если смотреть на нее с горы – всю запахали бульдозерами. А вокруг станции постепенно выстроились ровные ряды домов и магазинов. Новоприбывшие по преимуществу работали на фирмах в центре города, поэтому вскакивали в шестом часу утра, ополаскивали лицо и нетерпеливо прыгали в поезд – чтобы вернуться домой глубоким вечером в полумертвом состоянии.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)